

Самойлов Давид

8.02.1997

Московский альбом

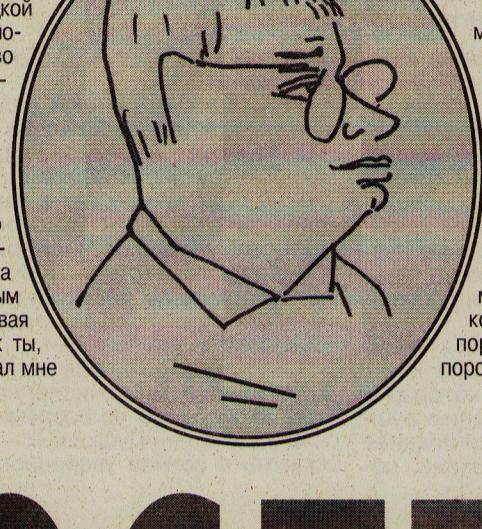
«Р

ассадин, не будь безрассуден! Пусть в восемьдесят седьмом увидимся и по- рассудим, а также раскинем умом...»
Храню новогоднюю открытку из эстонского Пярну, в прошлом Пернова, где Давид Самойлов прикился в свои последние годы, где им гордились как знатным постоянцем, введя его дом в число объектов, которые принято демонстрировать экскурсантам, и откуда новые власти после высыпнули его вдову и детей.

Он вообще был щедро на разбрасывание экс- промтам — именно на разбрасывание: хвала его другу Юрию Абзызову, подбиравшему их и наконец собравшему в книжку, озаглавленную «В кругу себя...». Озаглавленную забавно, как забавны в ней в ролях комических персонажей и адресатов друзей — Копелев, Козаков, Левитанский, Гердт, Окуджава (кучись, что трижды мелькнули и я), — и придумано на манер Лилипутии или Швабрианцев целое государство, Курзюпия. Со своей историей, литературой и сводом смешных имен как бы эстонского образца; из них по причине их малой пристойности приведу два самых невинных: мужское — Клала Ваас и дамское — Аяна Ваас...

«Он не играл в шахматы, — в предисловии поясняет Абзызов, — не любил и не понимал игры в карты и уж тем более в домино. Единственный игровой площадкой у него была область Слова...». Выделяю слово «единственный», имея в виду не только игру.

«Увидимся и порассудим...». Что ж, виделись и в 87-м, и позже, раскидали умом над непременной бутылкой, но уже мало нам, вернее ему, оставалось встреч, подступала пора одиночества, которым он тяготился, шутяко вызывая к тому же Гердту: «Что ж ты, Язма, мимо ехав, не послал мне



вс. Москва, 1997. — 8 февраля — с. 4

сит, что под тяжестью знания может позволить себе видимость легкомыслия. Как и напротив: «играю, вольничаю, тешусь», по словам другого поэта, — и вдруг выскажусь в этаком роде: «Литература — это не стихотворство, даже не поэзия... а служение, жертва и постоянное обновление сорного духа...»

Это — Дэзик? Язык проповедника, словно забывшего, как он сам определял суть искусства: «Смесь небес и балагана»? Но нет, не забыл.

О чен люблю у него одно стихотворение — вряд ли из самых лучших, однако... Да что говорить, люблю — и все тут, впрочем, зная, откуда мое предпочтение. Говорю о задорной балладе про некоего Фердинанда, который ходил маркитантом с наследниковским войском, не в строю старой гвардии, свято преданной императору, а сам по себе. Как киплинговский кот. И при всей своей малозначительности, неразличимой с полководческо-государственной высоты, словно вызывающе жил наперекор Бонапарту. Плюя на его амбиции. «Бонапарт короны дарит и печет свои победы. Фердинанд печет и жарит офицерские обе-

ды... Бонапарт идет за Неман, что весьма неблагородно. Фердинанд девицу Нейман умывает из-под Гродно». И т. п.

Уже после кончины Самойлова я прочел в посмертно изданной книге его изумительной прозы, что в их роду полагали — по крайней мере предполагали, — будто одна из бабок поэта принадлежала к потомству «Рафаэля Фердинанда, солдата или маркитанта наследниковских войск». Заметим: или! Но, набросав костюмированный автопортрет, признавшись: «Ах, порой в себе я чую фердинан-

друга». Можно сказать и иначе: любили, однако крепко не нравились, и Самойлова в свою очередь приводила в ярость не стихотворная инвектива: к ней, между прочим, весьма обидной, он отнесся, как помню, вполне добродушно, а принципиальная «установка» Слуцкого: «Я пишу для умных секретарей обкомов».

Вообще, много лет уже зная мощный и трезвый самойловский ум, я, читая посмертную книгу «Памятные записки», все-таки поражаюсь, сколь рано пришла эта трезвость, что, в сущности, есть синоним духовной свободы. Неумения и нежелания хоть как-то вписаться в картину официальной поэзии. То есть в конце концов не сумел и Слуцкий, Самойлов же много раньше не покорил; отсюда неожиданный поиск родства не с импозантным, заслуженным воином, а с беспечнейшим маркитантом, чье дело так мало зависит от цвета знамен.

Сравните себя с такой мелкой сошкой — отнюдь не значит польстить себе. Вот с Александром Сергеевичем Пушкиным Самойлов себя ни за что не сравнил, если уж даже стихи об ушедших гениях современности он завершил самоуничтожением: «Как нас чествуют и как нас жалуют! Нету их. И все разрешено». Но — присмотритесь к стихам «Песелья, Поз и Анна», которые не цитирую по причине их хрестоматийности: в этом, в самойловском, Пушкине пропустит та же натура — «фердинанда», то бишь опять же самойловская. Этому Пушкину лестно, однако же и тоскливо быть в компании Пестеля-дебютиста, который слишком уверенно знает, в чем именно состоит польза отечества и долг гражданина.

Когда поэт, как это сделал Самойлов, произносит слово «служение» (помните: «Литература — это не стихотворство...»?), он сам выбирает, чому служить. Он, как сказал читимый Дэзиком Николай Глазков, «вечный раб своей свободы». Раб — но свой.

П оэты — не предсказатели. Утверждая притивное, мы не возводим их, как нам кажется, в высший ранг, а, наоборот, снижаем и унижаем. Просто судьба талантливого человека, не изменяющего своему таланту, складывается

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАРКИТАНТОВ

даже эхов. Ты проехал близ Пернова, поступив со мной хреново». Но, тяготясь, избрал все же уединение: «Я сделал свой выбор. Я выбрал залив». Или оно, уединение, его избрало? Вероятно, и этак, и так. «...К общению, конечно, тянет нас, грешных», — писал он Михаилу Козакову, — но отчасти и по инерции. Можно довольствоваться тремя-четырьмя друзьями. А остальное — фокусытатив».

Вот странное вроде бы дело. Среди самойловских записей есть попытка распределить поэтов советской эпохи по поколениям — всех, начиная от Мандельштама, Ахматовой, Пастернака, вслед которым он и пошлет свои защищенные до лоска строчки: «Вот и все. Смежили очи гени». Дальше — Тихонов, Заболоцкий, Сельвинский; затем — Твардовский, Павел Васильев, Липкин, Тарковский. И т. д. — вплоть до «полупоколения», которое следа не оставит: Куняев, Шкляревский и им подобные». Всех расписал, но что сказал о солдатах Отечественной, о сверстниках, на кого с уважением поглядывали старики-учителя и с завистью — шедшие следом? «Неполучившееся военное поколение».

Не-по-лу-чившееся? Это они-то?

Конечно, тут и память о потерях, о пустотах на месте, где должны были стать и стоять друзья: Кульчицкий, Коган, Майоров. «Они шумели буйным лесом, в них были вера и доверие, а их повыбило железом, и леса нет, одни деревья». Так что: «Аукаемся мы с Сережкой», то есть с Наровчатовым, одним из уцелевших, «но леса нет, и эха нету».

Дело, однако, не только в этом.

Д авид Самойлов был ясен, легок, бывал озорным не только в своих «закулисных» играх — он грациозно играл и в стихах, исполненных драматизма, например в поэме «Стру- фиан», исторический фен который — смерть Александра I и восстание декабристов. Отчасти и потому ему шла домашняя кличка «Дэзик», как его именовали многие, подчас не имея на то ни малейшего права, шла до конца, седому, лысому, полуслепому (он, однако, и тут острел: «Бутылку еще вижу, а рюмку — уже нет»). И все это было... Обманчиво? Опять же — не в этом дело.

Казалось бы, ни с того, ни с сего вспомнилось еще одна его дневниковая запись, вернее, целая их череда, начавшаяся в 1975 году неприватной и бескорыстной радостью: «Большое событие. Наконец-то пришел поэт». Обрадовался, прочитав стихи Юрия Кузнецова, ныне глухо ушедшего в тень, а тогда нашумевшего, правда, скорее своим эпатажем (например, изъявлял кощунственное желание лобзать руки детоубийцы люди Макбет или сообщал хладнокровно: «Я пил из черепа отца»).

Опыт пожившего-повидавшего человека, впрочем, слегка поддерживал ликовование: «Если мерзавец его не прикуят и сам не станет мерзавцем, через десять лет будет украшением нашей поэзии. Талант, сила, высокие интересы. Но...». Вот именно — но: «...Что-то и темное, мрачное». (Еще бы.) А через четыре года — новое предсказание: «...Сотворив из Ю. Кузнецова кумира, эта шатия будет искать ему жертву. Скорее всего это буду я».

Как в воду глядел: «Злобный выпад Ю. Кузнецова против меня... Комплексы. Сальерилизм». И отвягните мне — даже те, кто не обладает знанием нравов писательского союза, этого «террарима единомышленников»: как здесь должен преагировать тот, кто некогда возликовал, обнадежился и оказался обманут и оскорблена? Притом — лично, развязно, по-хамски? Дэзик реагирует как Дэзик: «Сыдим. Левитанский смотрел на меня и ждали. А мне было интересно — что это за современный гений». Вот так — интересно, и точка.

Ибо настолько многое понимает, видит, предви-



дует сама собой: даже трагедия помогает ему состояться. Видеть. Провидеть.

Судьба Самойлова и начиналась как-то уж очень по-славному образцово. Студентом ушел на фронт — добровольно. Был рядовым, одно время — разведчиком, что отложилось в стихах безупречной солдатской конкретностью. Помимо, он рассказывал, когда я при нем фантазировал насчет известнейших строк Межирова: «Я сплю, положив голову на Синявинские болота, а ноги мои упираются в Ладогу и в Неву». Это ж, импровизировал я, штабной писарь спит, рассстелил под собой карту фронта, хотя, разумеется, дело было всего лишь в заимствовании грандиозной образности од XVIII века.

...И вокруг довольства исчесляет, возлегши локтем на Кавказ», — это Ломоносов об императрице Елизавете. Но вот Самойлов: «А это я на полустанке в своей замурзанной ушанке, где звездочка не уставная, а вырезанная из банджи — ни следа романтического пафоса».

Даже то, что его, опубликовавшего первое стихотворение накануне войны, аккурат в 41-м, долгие годы не пускали в печать, даже это весьма характерно для той части «неполучившегося» поколения, которая оказалась впоследствии наиболее состоятельной в смысле духовном. И сама смерть... Вот как судьба — даже в трагедии — выдерживает странный сюжет, если ты правильно сделал свой выбор: сама смерть настигла поэта на вечере памяти любимого им Пастернака. «Гердт, — пишет артист Козаков, — услышал за кулисами стук упавшей самойловской палки и шум там, за кулисами, где сидел Давид Самойлович после выступления в ожидании своего друга, чтобы выпить с ним коньячок».

«Фердинанда натура...»

А выбор — он делается или хоть намечается даже там, где поэт о нем вовсе не думает.

Помню — папа еще молодой. Помню — выезд, какие-то сборы. И извозчик — лихой, завитой. Конь, пролетка, и кнут, и рессоры... Помню — мама еще млада, улыбается нашим соседям. И куда-то мы едем. Куда? Ах, куда-то, зачем-то мы едем! «Куда?» — вопрос, ответа на который не знает ребенок, к тому же оглушенный внезапно открывшейся ему Москвой («А вокруг купола, купола...»), но со временем этот вопрос обнаруживает особый, неожиданный смысл. «Папа молод. И мать молод. Конь горяч. И пролетка крылата. И мы едем, незнамо куда, — все мы едем и едем куда-то».

«Папа» — домашнее, теплое слово, такое же, как и сказанное чуть раньше «мама»; но вдруг — «мать», вдруг скочил из уютной домашности туда, где ни детства, ни мамы, ни папы, ни дома, ни прежней Москвы. Был выезд, стал отъезд — отбытие в то, что называется жизнью, а заканчивается смертью. В область вопросов, на которые так и нет ответов, в область безнадежных утрат: «Зачем живем, зачем коней купаем?.. Зачем, когда так скоро песня спета?.. Я вспоминаю Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николая... Но леса нет, и эха нету».

Это, однако, не совсем так. Леса нет, зато есть эхо.

«Всегда тебя слышу»; — написал Самойлов на одной из подаренных мне книг. Надеюсь, что — да, и меня слышал, но мы-то уж точно не перестаем тебя слышать, Дэзик. Слышать и слушать порою (в чем ты виноват только своим уходом) едва ли не надрывно, болезненно, сознавая, что вслед за «смехившими очи» Ахматовой, Пастернаком и Заболоцким ушел Самойлов, — значит, сказанное когда-то: «Нету их. И все разрешено»

стало вполне справедливее. Расширилось поле все- звучания.

Будем надеяться: не навсегда.

Станислав РАССИДИН

Рисунки Глеба САЙЧУКА